
Робинзон Кузо
и канат, у которого есть сердце
Антон Шешуков

Антон Шешуков

Робинзон Кузо и канат, у которого есть сердце

https://litres.ru/74776859
SelfPub; 2026

Аннотация

Дорогу на север преграждает непроходимый лёд, а где-то за ним, возможно, Кузо ждёт ответ на самый важный вопрос: откуда он родом? Однажды волшебная снежинка возвращает ему обрывок забытого воспоминания. Вместе с Пуговкой и друзьями Кузо попробует разгадать тайну своего прошлого — и узнает, что даже у старого корабельного каната может быть сердце.

Содержание

Глава 1. Снежинка, которая не тает 4
Глава 2. Каша, которая пахла домом 10
Глава 3. Барсучонок, который не спал зимой 15
Глава 4. Риф, который трещит, как костёр 20
Конец ознакомительного фрагмента. 24

Антон Шешуков
Робинзон Кузо и канат, у которого есть сердце

Глава 1. Снежинка, которая не тает

Мачты помнят.

Нас семь. Мы старые мачты в новом корабле. Нас срубили давно, и мы долго ходили по морям на старом галеоне. Потом галеон разбился о лёд, а мы остались стоять во льду, как пеньки. А потом выросли снова — выше, чем были, и золотые.

Корабль под нами новый. Он пахнет свежей смолой и ничего ещё не помнит. А мы помним всё. Мы помним первый день каждого, кто ступил на нашу палубу. Помним, кто плакал ночью, кто пел, кто прятался.

Мы помним ночь, когда сто двенадцать пар лап тихо сошли по трапу. Каждый, уходя, тронул самую большую из нас — грот-мачту. Капитан стоял у борта и считал вслух. Досчитал до ста двенадцати и никого не остановил. Но об этом мы молчим. Нас попросили.

А седьмая из нас молчит всегда. Она помнит лапу.

Через четыре дня после острова Полуночный море стало

белым.

Сначала Кузо подумал, что это туман. А потом «Сполох» подошёл ближе, и стало видно: это лёд. Ровный, бесконечный, до самого края неба. Не льдины, которые можно растолкать носом, а целая белая страна.

Кузо стоял на носу и держался за поручень обеими лапами. Где-то там, за этой белой страной, было место, «где сияние спит». Так сказал ворон Кырк, вестник с острова Полуночный. Туда ушла кошка с белыми лапами — та, что каждый год отмечала зарубкой на дереве, каким вырос бы её котёнок. Кузо почти не сомневался, что этот котёнок — он.

— Вперёд, — прошептал он. — Ну пожалуйста, вперёд.

«Сполох» вырастили из льда духи Севера, и нос у него был как у ледокола. Кузо видел, как этот нос наползает на лёд всей тяжестью — и лёд хрустит, как сахар под ложкой.

Сзади простучали шаги. Барсур, старый кот-капитан, встал рядом.

— Паковый лёд, — сказал он наконец. — Многолетний: зима за зимой намерзает слой на слой, а летом не успевает растаять. Толще, чем мачта в обхвате.

— Но «Сполох» же ледокол!

— Ледокол ломает лёд, который ему по силам. Этот — не по силам. Зимой туда не пройдёт никто. Ни мы, ни киты, ни духи. До весны.

— До весны?! — Кузо обернулся так резко, что шарф хлестнул его по уху. — Это же целая зима!

Барсур не ответил. Он поднялся на мостик, взялся за штурвал из кости и меди и повернул. Медленно, как поворачивают тяжёлую дверь. Нос «Сполоха» отвернулся от белой страны, и солнце, низкое и красное, оказалось у Кузо за спиной.

Корабль шёл на юг.

— Лёд не спорит, — сказал Барсур с мостика. Больше он ничего не объяснял.

Весь день Кузо дулся. Он сидел на мотке каната и смотрел, как белая полоса за кормой становится всё тоньше, а потом пропадает.

— Пушистый! — донеслось из камбуза. — Иди сюда, тут скучно!

Это был Уголёк, дух очага. Он жил в большой печи «Сполоха» и называл себя «Великим Угольком, Грелкой Тридцати Чумов». Когда ему было весело, он трещал. Когда обижался — тускнел.

— Не пойду, — сказал Кузо.

Из печной трубы вылетела обиженная искра и погасла на ветру.

Барсук Брамс, корабельный кок, выглянул из камбуза и вытер лапы о фартук. Через минуту рядом с Кузо на канате стояла кружка тёплого молока с мёдом, а Брамса уже не было.

А мышка Пуговка, ученица парусного мастера, вечером села рядом и показала ему свой блокнот. Каждое утро она за-

писывала туда «вопрос дня». Сегодняшний был такой: «Почему лёд не тонет?» И ниже: «Он легче воды».

— Весной он растает, — сказала Пуговка. — Не весь, но столько, чтобы пройти.

— Я знаю, — сказал Кузо. — Я просто… я столько лет не знал, откуда я. А теперь знаю, где искать. И нельзя.

Пуговка подумала.

— Зима — это сто двадцать дней, — сказала она. — Я посчитала. Можно каждый вечер ставить крестик.

— Сто двадцать крестиков. — Кузо уткнулся носом в шарф.

Ночью была вахта Кузо.

Палуба спала. Паруса светились зелёным и розовым, тихо, вполсилы. Мачты поскрипывали. С тех пор как Небесная Важенка, добрая дух-оленуха, сделала ему подарок, Кузо слышал, о чём они скрипят. Совсем немножко, как слова за стенкой. Сейчас мачты перешёптывались о чём-то старом.

Кузо, как каждый вечер, пересчитал их. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И семь. Седьмую он погладил: на ней, на уровне его носа, была старая зарубка — косая черта, а на конце маленькая ямка.

Потом он полез в сумку.

В сумке, в отдельном кармашке, завёрнутая в лоскуток, лежала снежинка. Стынь, Хозяин Пурги, уронил её Кузо на нос, когда проиграл на острове спор. Она не таяла ни на печке, ни в кружке с чаем, ни в лапе.

Кузо развернул лоскуток. Снежинка блеснула в свете парусов.

Он и сам не знал зачем — просто поднёс её к носу, как она лежала тогда, на острове.

Холодок коснулся носа.

И палуба пропала.

Было темно. Пахло мокрыми прутьями и чем-то тёплым, родным, чему нет названия. Мир качался — вперёд-назад, вперёд-назад, медленно, как колыбель. Перед глазами были прутья. Много прутьев, тонких, в ряд. А сквозь прутья падал снег. Белые пушинки опускались одна за другой, и одна легла ему на нос. Холодная. Кузо — маленький, совсем маленький — чихнул.

Где-то рядом кто-то гудел песню. Не пел словами, а гудел, низко и тихо, будто песня не хотела, чтобы её услышал кто-то ещё. И между прутьев просунулась лапа. Белая. Она поправила что-то мягкое у него под боком и пропала.

— Кузо! Кузо, ты что?

Палуба вернулась. Пуговка стояла перед ним в ночной курточке и трясла его за лапу. Снежинка лежала на лоскутке, целая.

— Я… — Кузо сглотнул. — Я видел снег.

— Ну да. Мы же неделю на севере, там везде снег.

— Нет. Не там. Раньше. Когда я был маленький. Совсем маленький. Я был в клетке, она качалась, и падал снег. И кто-то пел.

Пуговка села рядом. Её усы подрагивали.

— Кузо, — сказала она тихо. — Ты же рассказывал. В твоей деревне снега не было никогда. Ты его первый раз увидел, когда мы пошли на север. Ты тогда целый час ловил снежинки ртом.

— Вот, — сказал Кузо. — Вот именно.

Он снова поднёс снежинку к носу. Холодок — и больше ничего. Он подождал. Ещё подождал. Пуговка сидела рядом и не мешала.

Кузо завернул снежинку в лоскуток. Мачты скрипели. Седьмая, кажется, громче остальных.

Утром в блокноте Пуговки появился новый вопрос дня:

«Где Кузо видел снег раньше, чем увидел снег?»

Ответа под ним не было.

Глава 2. Каша, которая пахла домом

У Барсура был судовой журнал, толстый, как каравай: сорок лет записей — где шли, какой дул ветер, кого взяли на борт. Во льдах Полуночного капитан сжёг его в костре, листок за листком, чтобы отогреть замерзающего рыжего кота.

Теперь у Барсура был новый журнал. В нём была одна строчка: «Взяли на борт рыжего кота. Опять».

Восьмой день «Сполох» шёл на юг. Он поймал тёплое течение, и по утрам на палубе больше не было инея.

— Мало, — сказал Барсур в тот вечер. — Корабль без памяти — как кот без усов. Идёт, а куда — не чует.

И сел восстанавливать старый журнал по памяти.

Он сидел в каюте с пером и стопкой чистых листов. Кузо, Пуговка и Брамс устроились рядом, потому что их никто не выгонял. Уголёк потрескивал в маленькой жаровне на столе: Брамс принёс его туда в медном совке, «для света и для компании».

— Год первый, — сказал Барсур и окунул перо. И замер.

Перо висело над листом. С кончика набухла капля.

— Год первый, — повторил Барсур. — Месяц… Было лето. Или весна. Ветер был… — Капля упала на лист и расплылась кляксой. Барсур смотрел на неё так, будто клякса

была виновата.

— Не помнишь? — удивился Уголёк. — Ха! Память дырявая, как мой старый котелок!

Стало очень тихо. Барсур положил перо, встал и отошёл к окну. На Уголька он не посмотрел. Уши у него были прижаты.

Уголёк потускнел.

— Я пошутил, — сказал он маленьким голосом. — Я ж всегда шучу.

— Знаю, — сказал Барсур, не оборачиваясь.

Кузо смотрел на его спину и вдруг подумал, что капитан очень старый. Раньше он почему-то так не думал.

Пуговка подсела к столу.

— Капитан, а давайте с конца? — сказала она. — Что недавно было, то лучше помнится.

Барсур постоял. Вернулся. Взял перо.

Так и пошло. «Полуночный. Галеон разбит. Выросли мачты. Новый корабль — „Сполох“». Это Барсур написал быстро. «Перина. Спали все. Разбудила песня». Тоже быстро. А потом он перевернул чистый лист, написал наверху «Ночь после Перины» — и дальше не написал ничего.

Посидел над пустым листом. Потом растопил над Угольком палочку сургуча — твёрдого тёмного воска для печатей, — сложил лист пополам и запечатал.

— Это что? — спросил Кузо.

— Страница, — сказал Барсур.

Кузо вспомнил то утро.

Остров Перина остался позади, корабль шёл на север. Кузо вышел на палубу, а палуба была пустая. Ни одного матроса. Гамаки в матросской спальне свёрнуты, аккуратно, как никогда не бывает. На камбузе, на длинной полке, стояли кружки. Сто двенадцать кружек, вымытых и перевёрнутых вверх дном. Брамс тогда стоял перед этой полкой с полотенцем в лапах и не мог сдвинуться.

— Где все? — спросил тогда Кузо.

— Отпустил, — сказал Барсур. — Надолго.

Больше никто не спросил: вопрос был горячий, его нельзя было трогать. А потом начался север, и стало не до вопросов.

А сейчас Кузо спросил:

— Капитан. Куда они ушли? Сто двенадцать. Это же целая команда.

Барсур убрал запечатанный лист в журнал, между страниц.

— Это не моя тайна, — сказал он. — Напишу, когда вернутся.

— А они вернутся?

— Обещали.

Больше из него не вытянули ни слова.

Ночью Кузо не спалось. Он то закрывал глаза и снова видел прутья и снег, то открывал и видел потолок каюты. Наконец встал и пошёл на камбуз: там всегда горел свет.

Брамс варил кашу. Брамс часто варил ночью, когда ему не

спалось или когда не спалось кому-то другому.

— Садись, — сказал Брамс. — Помешаешь.

Кузо сел и взял ложку. Каша была овсяная, густая, с мёдом и рублеными орехами. Брамс бросил в неё щепотку соли — «чтобы сладкое знало своё место» — и запах изменился.

И Кузо замер с ложкой в лапе.

Он знал этот запах. Не просто знал — он в нём жил когда-то. Кухня. Маленькая, низкая, с печкой в углу. На печке кастрюлька, в ней что-то тихонько булькает. За столом сидит большой дымчатый кот, старый-старый, с рваным ухом. Это дед. Кузо так его и звал: дед. Кузо — маленький, ему едва видно поверх стола — тянет нос к кастрюльке, а дед говорит: «Не суйся, обожжёшься. Кто ждёт — тот ест». И подмигивает.

А ещё дед завязывал узлы. Кузо вспомнил это так ясно, что даже лапы зачесались. Шнурок от занавески дед завязывал хитрой петлёй: она не затягивалась, сколько ни дёргай, а развязывалась одним движением. Кузо, маленький, сто раз пытался так же. У него получалась каша. Дед смеялся и показывал снова: «Вот кролик вылезает из норки, обегает дерево и прыгает обратно в норку».

— Кролик вылезает из норки… — пробормотал Кузо.

Брамс перестал мешать.

— …обегает дерево и прыгает обратно, — закончил он. — Это ж беседочный узел. Самый главный морской узел. Где ты его выучил?

— Дед учил. Дома. В деревне.

— В деревне, — повторил Брамс. — В деревне, где нет моря.

Он долго смотрел на Кузо, а потом снова начал мешать.

— Запах — самая короткая дорожка к памяти, — сказал Брамс. — Мама так говорила. Глазами вспоминаешь долго, а носом — раз, и ты уже там.

Потом он вышел на палубу, задрал морду и высунул язык. Это тоже был подарок Небесной Важенки: Брамс пробовал ветер на вкус и узнавал завтрашнюю погоду.

Вернулся он хмурый.

— Солёный, — сказал он. — И с горчинкой. Шторм. Завтра к вечеру. Большой.

Через полчаса в капитанской каюте снова горел свет. Барсур стоял над картой. Настоящие карты ушли на дно вместе с галеоном, и эту Пуговка рисовала под его диктовку.

— Шторм пережидают в гавани, — сказала Пуговка и провела пальцем по карте. — А ближайшая гавань… вот. Остров. Тут написано: «Певучий риф».

— Нет, — сказал Барсур. Сказал сразу, резко.

Все повернулись к нему.

Барсур долго смотрел на карту. Провёл лапой на север, на юг, на восток. Везде было пусто. Только синее.

— Другой нет, — сказал он тихо.

И впервые за все годы, что Кузо его знал, у капитана Барсура дрогнул ус.

Глава 3. Барсучонок, который не спал зимой

Брамс не ошибся. С погодой он теперь не ошибался никогда.

К вечеру небо стало цвета мокрой золы. Волны поднялись, потемнели, и макушки у них побелели: море поседело за один день. «Сполох» шёл на юго-запад, к Певучему рифу, и Барсур не уходил с мостика. Пуговка бегала по палубе и проверяла узлы. После подарка Важенки они держали, пока она не шепнёт «отпусти», но она всё равно проверяла каждый: «Подарок подарком, а лапами надёжнее».

Потом вспыхнула молния.

Белая, на полнеба, — и всё вокруг на миг стало белым: паруса, мачты, лица. Кузо сжался. Но губы у него сами собой зашевелились:

— Раз-и… два-и… три-и…

Бум-м. Гром прокатился по небу, как пустая бочка по мостовой.

— Три, — сказал Кузо. — Далеко ещё.

Брамс, который как раз тащил по палубе ведро, остановился.

— Ты чего считаешь?

— Секунды. От молнии до грома. — Кузо говорил быстро,

чтобы голос не дрожал. — Свет прилетает сразу, а звук идёт пешком: три секунды — километр. И не так страшно. Страх занят счётом, ему некогда.

— Это кто ж тебя научил?

— Дед. Когда я был маленький и боялся грозы. Мы сидели на крыльце, и он считал вслух. А я за ним.

Брамс покачал головой.

— Хорошая наука, — сказал он. — Мама так не умела. Мама просто говорила: «Спи».

Вспыхнуло снова. «Раз-и… два-и…» Бум. Две секунды. Ближе.

— Так, — сказал Брамс. — Пошли на камбуз. Будем варить.

— Что варить?

— Неважно что. Когда страшно — вари. Это уже моя наука.

На камбузе было тепло и качалось. Кастрюли на крючках позвякивали. Уголёк в печи шипел на каждую волну, которая била в борт: «Ты мне ещё попробуй!» Брамс поставил на огонь котелок, высыпал туда сушёные яблоки, плеснул воды, бросил палочку корицы. Кузо держался за стол.

— А ты что, тоже боялся? — спросил он. — Маленький?

Брамс помешал яблоки. Долго мешал.

— Я зимы боялся, — сказал он наконец. — Тёмной. Длинной.

И рассказал — по кусочку, между помешиваниями.

Снежный лес. Ели в шапках до самой земли. Под старым дубом — целый барсучий город: ходы, спальни, кладовые.

А зимой барсуки засыпают на долгие недели. Свернутся клубком и спят, пока снаружи метёт. Мама-барсучиха, папа, бабушка, четыре брата, две маленькие сестрёнки — все спали.

А Брамс не мог.

Он ложился, закрывал глаза, считал до ста — и ничего. Сна не было. Была темнота. Длинная-длинная. Все дышали вокруг — медленно, тихо, — а он лежал и слушал, как наверху воет ветер.

— Тогда я и начал варить, — сказал Брамс. — Тихонько, в дальней кладовой, на маленькой печурке. Шишки, грибы сушёные, корешки. Варил и думал: вот проснутся, а тут — горячее. Мама обрадуется.

— А почему тихонько?

Брамс хмыкнул.

— Голос у меня был, — сказал он. — Вот как сейчас. Только я был маленький, а голос уже большой. Скажу что-нибудь — а по всей норе гудит, как в трубе. Бабушка ворочалась во сне: «Тише, Брамсик, разбудишь». Братья смеялись: «У Брамса в животе медведь». Ну я и привык. Говорить мало. Гудеть себе под нос. — Он помешал. — А кастрюля — она не смеётся. С ней можно.

Волна ударила в борт. Кастрюли звякнули. Кузо ухватился за стол покрепче.

— А дальше? — спросил он.

— А дальше был конец зимы. Самый плохой кусок. Запасы кончились, а весна ещё не пришла. Сестрёнки проснулись раньше всех. Маленькие, голодные. Пищат. А в кладовой — пусто. Ни грибочка.

Брамс замолчал. Потом сунул лапу в глубокий карман фартука — Кузо всегда думал, что там лежит половник, — и вытащил банку.

Обычную стеклянную банку, пустую, с поцарапанной жестяной крышкой.

— Рядом с нами жил ёж, — сказал Брамс. — Дед Колюч. Ёжики зимой спят ещё крепче барсуков. А летом Дед Колюч варил земляничное варенье. У него в кладовке стояли банки, рядком. Я знал.

— И ты…

— Я пошёл и взял одну. Пока он спал. Принёс сестрёнкам. Они съели всё, до донышка, и вылизали банку, и уснули — сытые. А я сидел и думал: весной верну. Скажу: «Дед Колюч, вот банка, а варенье я вам сварю своё. Лучше вашего».

— И вернул?

— Весной я пришёл к его норке, — сказал Брамс. — А там пусто. Он переехал. К дочке, за реку, далеко. А куда точно — никто не знал.

Он повертел банку в лапах. Стекло поймало огонёк Уголька и засветилось.

— Тридцать лет ношу, — сказал Брамс. — С тех пор и

говорю всем: «Банку вернуть». Знаешь, как это — когда хочешь вернуть, а некому?

Кузо знал. Не про банку. Он подумал про деда, которому так и не рассказал ни про море, ни про мачты, ни про Брамса. Теперь рассказывать было некому.

— А это правда так было? — спросил он тихо. — Всё-всё?

Брамс подумал.

— Не знаю, — сказал он честно. — Может, сестрёнок было не две, а одна. Может, варенье было не земляничное. Память — она как тесто. Каждый раз, когда её достаёшь, немножко мнёшь по-новому. Но банка — вот она. Банка настоящая.

Он спрятал её обратно в карман.

Яблоки сварились, и камбуз запах так, что даже Уголёк перестал ругаться на волны. Брамс разлил компот по кружкам. Кузо пил и вдруг заметил, что давно не считал. Молнии вспыхивали, гром гремел, «Сполох» скрипел всем корпусом — а ему было не страшно. Страх был занят компотом.

За дверью камбуза раздался голос Барсура. Хриплый, сквозь ветер:

— Все на палубу! Риф!

Брамс поставил кружку.

— Ну вот, — сказал он. — Приплыли.

Глава 4. Риф, который трещит, как костёр

На палубе было черно и мокро. Дождь летел не сверху, а сбоку. Паруса светились тускло, едва-едва, как фонарики под одеялом.

А впереди, в темноте, мигал огонёк.

— Маяк! — крикнула Пуговка. — Капитан, там маяк!

Кузо смотрел на огонёк и ждал, что сейчас станет спокойнее.

Огонёк мигнул. Потом ещё раз. Потом надолго погас. Потом мигнул три раза подряд, быстро, спотыкаясь.

— Не смотреть на него, — сказал Барсур.

— Почему?

— Врёт. — Капитан держал штурвал обеими лапами. — Не так он мигал. Не так.

Справа из темноты вдруг поднялась белая стена — волна разбилась обо что-то невидимое и рассыпалась пеной. Слева — ещё одна. Риф. Под водой, совсем рядом, лежали камни. Кузо вцепился в поручень.

— Капитан…

— Вижу.

Видеть Барсур ничего не мог: в такой темноте не помогали даже кошачьи глаза. Но капитан поворачивал штурвал

— чуть-чуть влево, потом сильно вправо, потом прямо, — и белые стены пены проходили мимо. Справа, слева, снова справа. Не задевая.

Он вёл корабль по памяти.

— Тут камень, похожий на спящую собаку, — бормотал Барсур себе под нос. — Его обходят с хвоста. Потом два брата. Между братьями узко, но глубоко. Потом…

Он вёл и вёл. Брамс стоял рядом с ведром в лапах, забыв его поставить. Пуговка обхватила канат у мачты. Уголёк в печи затих совсем. А «Сполох» шёл сквозь риф, как нитка проходит в игольное ушко.

И вдруг волны опали. Ветер стих, будто кто-то закрыл за ними дверь. Корабль вошёл в бухту, за каменное плечо острова.

Барсур отпустил штурвал. Лапы у него дрожали.

— Сорок лет, — сказал он, ни к кому не обращаясь. — Сорок лет тут не был. А помню каждый камень.

— Как это? — спросила Пуговка. — Вы же вчера не могли вспомнить, какой был ветер в год первый.

Барсур посмотрел на неё странно.

— Что вчера — забывается, — сказал он. — А что было очень страшно — то навсегда.

Он ушёл в каюту и закрыл дверь.

К утру шторм стих, и все вышли на палубу посмотреть, куда их занесло.

Остров был небольшой, каменный, с зелёными заплатка-

ми травы. На самом высоком месте стоял маяк — белый, в красную полоску, с красной шапкой. А море вокруг острова было не синее, а пёстрое: бирюзовое, зелёное, жёлтое. Это был риф. Не просто камни, а живой риф.

И он трещал.

Кузо сначала решил, что это Уголёк. Тихий-тихий треск, как от костра, где горят сухие ветки. Только шёл он не из печи, а снизу, из воды. Со всех сторон.

Уголёк высунулся из печной трубы, как из окна.

— Это ещё кто? — возмутился он. — Кто тут трещит без меня? Тут я трещу!

— Это креветки, — сказала Пуговка и улыбнулась. — Мастер рассказывал. На рифах живут креветки-щелкуны. У них одна клешня огромная, в половину их самих. Они её щёлкают — так быстро, что в воде лопается пузырёк. И получается щелчок. Громкий, как хлопок. А их тут тысячи.

— Креветки? — Уголёк не поверил. — Трещат громче меня?

— Под водой — громче, — честно сказала Пуговка.

— Тьфу, — сказал Уголёк и спрятался обратно. Из трубы ещё долго доносилось обиженное «тут я трещу».

Они сошли на берег по сходням. Пирс был старый, дощатый, весь в ракушках. На краю пирса стоял домик.

Домик был сложен из раковин. Больших и маленьких, витых и плоских, белых, розовых, перламутровых, скреплённых глиной, как кирпичи.

Дверь открылась, и вышел рак-отшельник.

Он был большой, старый, с длинными усами, которые всё время ощупывали воздух. Свою мягкую спину он прятал в огромной витой раковине, бело-рыжей, как карамель. На носу у него сидели очки на верёвочке.

— Гости после шторма! — сказал он скрипучим голосом. — Я Ракуш, смотритель здешнего маяка. Маяк зовётся Перекличка, и остров так же. Что у вас, течь? Мачта? Хлеба?

Тут на сходни спустился Барсур.

Ракуш посмотрел на него. Поправил очки. Посмотрел ещё раз. И вдруг заулыбался всеми усами.

— Юнга! — закричал он. — Ах ты ж, юнга! Опять петь будешь?

Все обернулись на Барсура.

Барсур, который затыкал уши мхом от любой песни и при друзьях пел один-единственный раз, на Перине, стоял на сходнях и молчал. Уши у него медленно прижимались к голове.

— Ошибся, старик, — сказал он наконец и пошёл обратно на корабль. Посреди сходней он замедлил шаг. Кузо показалось, что сейчас капитан обернётся. Капитан не обернулся.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.